

ЛИТЕРАТУРА

О прозе русско-еврейского писателя Давида Шраера-Петрова

Клавдия Смола (Грайфсвальд, Германия)

В 2016 году русско-еврейскому поэту и писателю, ученому-биологу, медику и бывшему отказнику Давиду Шраеру-Петрову исполнилось 80 лет. В кругах русско-еврейской интеллигенции Шраер-Петров уже стал легендой: человеком, который пережил и описал историю еврейского диссидентства в Советском Союзе и стал одним из наиболее ярких писателей, мемуаристов и аналитиков поздне- и постсоветского периода. Как и его великий предшественник Антон Чехов, творческий диалог с которым он ведет во многих своих текстах, Шраер-Петров всю жизнь был естественником-медиком и в течение долгих лет практикующим врачом¹; в этой области он сделал заметные научные открытия. Для ученых-славистов и исследователей еврейства Шраер-Петров, помимо прочего, классик литературы позднесоветского экзодуса и крупная фигура в литературе третьей волны русской эмиграции. Тем не менее, его творческая и научная биография, многочисленные тексты и роль в интеллектуальной истории русского еврейства и русской культуры в целом, к сожалению, еще очень мало изучены и ждут своей монографии.

«<...> я ощущаю себя американцем, русским писателем и евреем, то есть во мне теперь уже сочетаются три ипостаси: Америка, еврейство мое и, конечно, Россия, потому что язык — это единственное орудие, с которым писатель имеет дело», — сказал Шраер-Петров в январе этого года в интервью радиостанции *Радио Свобода*². Вопрос идентичности писателя, о котором заставляет задуматься эта автохарактеристика, так же сложен и одновременно прост, как и для многих авторов транснациональной еврейской диаспоры, начиная с периода Хаскалы (еврейского Просвещения) в Европе и ассимиляции.

Во многих случаях продуктивного развития творческой личности эта идентичность проявляется именно в художественных текстах: в синкретизме разных культурных традиций на уровне образов, стиля, тем и перспективы. Ко второй половине XX века — времени отрочества и юности Шраера-Петрова — процесс русификации и советизации евреев был практически завершен. В то же время ощущение евреями своей национальности и обретение заново часто уже полностью отсутствующих этнических знаний было симптомом не столько культурного климата, сколько политического. Государственный и бытовой антисемитизм сталинской и постсталинской эпохи писатель испытал на себе очень рано. Это насильственное напоминание о собственном происхождении Шраер-Петров не раз изображает в своей автобиографической прозе, например в романе «Странный Даня Раев»³, написанном уже в Америке. В первой главе семилетний Даня слышит из уст фронтовика и милиционера Додонова типичный набор характеристик в адрес пожилого знакомого еврея (мнимого, так как речь идет о караиме): *«Понаехали сюда горбоносые да картавые и свои порядки устанавливают. Я кровь рабоче-крестьянскую проливал, а вы, гады ползучие, по тылам отсиживаетесь. <...> Видишь, Владимировна, за какую мразь мы с немцем воюем»*⁴.

Судя по многим подобного рода свидетельствам, еврейство Шраера-Петрова и его текстов началось именно так, и это связывает его с целым рядом русско-еврейских писателей его поколения и их рассказами о еврейском детстве в Советском Союзе — Александром Мелиховым, Марком Зайчиком, Давидом Маркишем, Израилем Меттером, Юлией Шмуклер, Людмилой Улицкой, Юрием Карабчиевским и Борисом Хазановым. Еврейское национальное возрождение и борьба за репатриацию в Израиль (алию), начавшиеся во второй половине 1960-х, восходят к этим впечатлениям: негативная еврейская идентичность, вскормленная антисемитизмом, преобразуется в одно из крупнейших в русской истории «нативных», антиассимиляторных движений этнических меньшинств. Более того, в одно из интереснейших явлений европейского культурного андерграунда. Подобно Эли Люксембургу, Ефрему Бауху или Феликсу Канделю, Шраер-Петров становится писателем экзодуса в библейском смысле этого слова. Так, роман «Герберт и Нэлли» (1984)⁵, будучи образцом русской прозы второй половины XX века, черпает свою образность (хотя и точно) из многовековой культуры иудаизма и приобщается в то же время к традициям мировой литературы сионизма.

Как «интеллектуальный» городской еврей, коими были многие участники движения алии (и не только они), Шраер-Петров во многих



Давид Шраер-Петров. Нижнеангарск, 1976.
Фото из архива писателя

своих произведениях развивает поэтику еврейского этнографизма и культурного просвещения — свойство авторов, которые не росли в контексте своей этнической культуры, а познакомились с ней во взрослом возрасте по книгам. И, конечно, свойство тех авторов, кто пишет не для еврейской публики. В упомянутом романе этнографизм объясняется еще и документальностью сюжетной линии: описывается жизнь евреев-отказников, заново открывающих для себя еврейские обряды и религию — гиюр, бар-мицву, праздник Торы и т. д. Особенность творческой позиции писателя, однако, заключается в интересе к народной и религиозной культуре и других этносов, в том числе и русского. Он, например, рассказывает: *«Во время войны я попал в уральскую деревню, в глубинку, и там, я думаю, испытал самое главное влияние — влияние потрясающей русской речи, с множеством слов, которые мы давно не используем, давно забыли и знаем только по словарю Даля. А там эта речь была обиходной»*⁶.

Культурная фактография характерна для писателя-ученого, но сочетается почти всегда с семантикой протеста и печали — как, например, с темой криптоеврейства. В рассказе «Белые овцы на зеленом склоне горы»⁷ рассказчик знакомится в Азербайджане с семьей горских евреев, вынужденных скрывать свою веру; в «Герберте и Нэлли»

рассказывается о живущих в литовском Тракае караимах, исповедующих родственную иудаизму религию, но отделяющих себя от евреев из страха жестоких преследований.

Биография Шраера-Петрова, как было сказано выше, объясняет некоторые черты его поэтики и круг интересов. Она известна из трех томов его литературных воспоминаний⁸ и книги «Охота на рыжего дьявола»⁹, а также из статей, опубликованных в сборниках его произведений и антологиях. Он родился в Ленинграде, в семье ассимилированных еврейских интеллигентов¹⁰, поступил в медицинский институт в 1953 году, в один из самых страшных для советских евреев периодов («дело врачей», которое после смерти Сталина было уже прекращено), защитил кандидатскую и докторскую диссертации. *«Как ученый-медик, Д. П. Шраер опубликовал почти сто статей по микробиологии, бактериофагам и онкологической иммунологии, а также монографию “Стафилококковые инфекции в СССР”»,* — написано в статье российской Википедии¹¹. Литературный дебют Шраера-Петрова был связан, как ни странно, именно с учебой в медицинском институте: *«Я встретился в этом институте с будущим замечательным кинорежиссером Ильей Александровичем Авербахом. И вместе с ним и Васей Аксеновым мы организовали литературное объединение. Потом оно стало литературным объединением “Промкооперации”, куда вошли такие крупные будущие писатели, как Рейн, Вольф, Бобышев, Найман, Кушнер, Еремин, Соснора»*¹². Он органично вошел в когорту ленинградских поэтов, возрождавших во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов петербургскую школу Серебряного века. Как и многие неподцензурные поэты позднесоветского времени — очень часто как раз еврейского происхождения — Шраер-Петров публиковал тогда в основном переводы¹³. Его собственные стихи впервые появились в печати в 1967 году¹⁴.

Перед тем как в 1987 году эмигрировать с семьей — женой Эмилией и сыном Максимом, ныне известным литературоведом и прозаиком, — в Соединенные Штаты, писатель около девяти лет «просидел» в отказе. Началом стало чтение поэтом стихотворения «Моя славянская душа в еврейской упаковке» в открытом эфире на празднике поэзии в Литве и последовавшая проработка в секретариате Союза писателей. *«Вдруг я понял, что, конечно, я обязан писать о евреях. Это главная линия в моей жизни. Кто как не я?»*¹⁵. Живое свидетельство Шраера-Петрова о масштабах еврейского движения и карательных мер со стороны власти противоречит распротраненному мнению (в том числе и некоторых историков) о его относительной незначительности и об элитарности интересов участников советского эксодуса:



Давид Шраер-Петров, Максим Д. Шраер, Эмилия Шраер (Поляк). Эстония, 1977.
Фото из архива писателя

<...> это был малый геноцид, который Советская власть делала. Потому что в одной Москве сидело в отказе около 50 тысяч евреев, причем, самое главное, они большей частью выпускали людей простых профессий и отфильтровывали и держали в отказе, в основном, интеллигенцию. Причем интеллигенция деклассировалась. Например, я знаю, что один заслуженный артист республики, скрипач, вылетела из головы уже фамилия его, он работал уборщиком в переходе на Смоленской площади.

Таких примеров была масса, все наши друзья, практически, работали рабочими, электромонтерами, бойлерщиками, а это были врачи, инженеры и т. д. Но врачам было немного легче, поскольку я спустился из старших научных сотрудников до положения простого врача, но я все-таки работал, это была моя профессия. А очень многие страдали. В отказе вся наша семья стала очень активно сотрудничать с активистами, такими как Слепак, Бегун и т. д. Меня много раз предупреждали, несколько раз хватали, вели в милицию, допросы устрашающие устраивали, ну и т. д., и т. п. Кончилось практически судебным процессом, который подготовила газета «Аргументы и факты», они написали там огромную статью <...>.

Мне посылали повестки в прокуратуру. Я решил — не пойду. Кончилось это дело тем, что я оказался в больнице, свалился с тяжелым сердечным приступом, и после этого вдруг отлегло. Они от меня отстали¹⁶.

Опыт отказа и связанные с ним травля и исключение из Союза писателей стали в то же время мощным творческим импульсом, источником многих произведений Шраера-Петрова не только до, но и после эмиграции. И, пожалуй, одним из наиболее важных источников самоидентификации. Надо отметить, что в целом стиль, художественная фактура и интеллектуальная основа прозы писателя полностью сложились в доэмиграционный период, а в Америке обогатились прежде всего темой бытия русских евреев за границей, в основном в Америке. В этом смысле Шраер-Петров именно писатель-эмигрант, а не представитель более новой, транснациональной по духу и проблематике русско-еврейской литературы — свидетельством открытой и многовекторной идентичности молодых авторов, пишущих нередко на двух языках. Это не удивительно, если учесть, что Шраер-Петров выехал на Запад в возрасте 51 года, уже написав свой главный роман («Герберт и Нэлли») и впитав уникальные пласты еврейской культуры в позднесоветской России, с ее особой гибридность — (анти)советско-еврейским самосознанием, памятью о замалчиваемом властью Холокосте и о разных исторических этапах советского антисемитизма. Кроме того, с рефлексией культурного и политического сионизма алии, к которому у него, думается (хотя бы по факту выезда в Соединенные Штаты), отношение неоднозначное. И, наконец, со стилистической и интертекстуальной ориентацией на русскую и западноевропейскую литературу и со скорее интеллектуальным, познавательным, чем органическим, «своим» восприятием еврейской литературной традиции. Впрочем, вопрос о возможном развитии поэтики писателя в сравнении с другими еврейскими авторами того же поколения, жившими/живущими в США, Канаде, Германии и т. д. (такими как Эфраим Севела, Григорий Свирицкий или Фридрих Горенштейн), должен стать предметом будущего исследования.

С 1987 по 2007 год Шраер-Петров жил в Провиденсе, штат Род Айленд, и работал на кафедре хирургии медицинского факультета Брауновского университета; с 2007 года он живет в Бостоне и много пишет. В американские годы у него вышло более двадцати книг, из них десять сборников стихов и четыре книги литературных мемуаров. Три книги прозы были переведены на английский язык (в чем помог ему сын Максим, филолог и издатель уникальной антологии

русско-еврейской литературы; из переводчиков надо упомянуть прежде всего жену Эмилию Шраер). Помимо этого, вместе с сыном была написана замечательная литературоведческая монография о Генрихе Сапгире, с которым писатель дружил многие годы¹⁷.

Из созданных в Америке прозаических произведений наиболее значительными представляются два романа Шраера-Петрова (первый по объему надо бы скорее назвать повестью): «Странный Даня Раев» (2001) и «Савелий Ронкин» (2004) из книги «Эти странные русские евреи» (2004), а также некоторые более поздние рассказы, вошедшие в сборник «Карп для фаршированной рыбы» (2005), — обе книги были изданы в Москве издательством «Радуга».

«Странный Даня Раев» автобиографичен и охватывает детские годы заглавного героя в Ленинграде и в эвакуации на Урале (1936–1945). По естественности языка, выбору впечатлений и переживаний и в то же время юмору и занимательности, которые свойственны этому «инфантильному» повествованию, повесть напоминает произведения о детях С. Аксакова, Тургенева и Чехова (рассказ «Гриша»), а позже, например, Приставкина или Александра Чудакова (роман «Ложится мгла на старые ступени»). Как и в лучших образцах литературы о детстве, ограниченность и «остраненность» восприятия ребенка парадоксальным образом сообщает самый точный образ исторической эпохи. Возникает живая картина довоенной жизни в Ленинграде, а потом в уральском селе во время войны. Рассказчик претворяет воспоминания в художественный нарратив — более позднее осмысление, «взрослое» соотношение фактов вплетаются в поэтику детской перспективы: короткие предложения, настоящее время (время кругозора героя), конкретность оптики, постепенно расширяющееся пространство восприятия: *«Помню деда Вульфа. Он старый. У него белая борода. Он почему-то в полушубке. <...> Из маминых рассказов я знаю, что дедушка Вульф, бабушка Ева, мамыны сестры Ривочка и Маня, брат Митя и моя мама бежали из Литвы от белополяков. Поляки убили Ривочку. Бабушка Ева умерла от горя и тифа. Дедушка <...> стал учителем еврейского языка. Тогда в Белоруссии еще были еврейские школы»*¹⁸. Реакция городского ребенка на простонародный язык уральской деревни воспроизводит своего рода cultural clash:

- А это моя мама, Стэлла Владимировна.
- Мудрено! — изумляется Пашка. — Вы кто будете?
- Ленинградцы! — с гордостью и даже с хвастовством говорю я.
- А люди бают — выковырянные!

*Не вдруг сознаю, что баить — значит говорить. А «выковырянные» — искаженное слово «эвакуированные».*¹⁹

Здесь встречаются русская крестьянская и русско-еврейская городская, а в социальном плане народная и интеллигентская культуры (похожая ситуация изображена в раннем автобиографическом романе Давида Маркиша «Присказка», 1971). В отличие от соседей по дому в Ленинграде, в семье Терехиных, где живет с мамой Даня, нет ни тени юдофобства, а ощущается какое-то человеческое всеприятие. Неслучайно, что именно в эти годы Даня забывает о своем еврействе, становится частью русской христианской, а больше народной русской среды, и празднует вместе с хозяевами Пасху, Масленицу, Николин день и Рождество. Правда, рассказчик отмечает тот факт, что Тереховы не подозревают об этнической принадлежности квартирантов и простодушно предлагают им завести свинью, что последние и делают, чтобы не умереть от голода: «У нас с мамой большое хозяйство: огород, поросенок, гуси. Мы совсем деревенские»²⁰. Даня читает русские народные сказки, а позже повести Пушкина и Гоголя, Куприна, Кассиля и «Кюхлю» Тынянова. И ему стыдно за то, что идиш, о котором рассказывает ему тетя Эня, похож на язык врагов немцев.

Искусно, ненарочито показывает Шраер-Петров сочетание разных оттенков, формирующих особую, неоднородную среду для «приезжего» еврейства в русской провинции 1940-х годов, как и само это еврейство: народный космополитизм деда Андрея и бабы Лены; ассимиляция ребенка из еврейской семьи с уже вполне «тонкой» этнической принадлежностью; при этом его же живое общение с членами своей «мешпухи»; бытовой антисемитизм сельских властей (см. выше о милиционере Додонове). И вместе с тем показан синкретизм самой русской народной культуры: мужчины воюют на фронте, а их семьи, празднуя победу под Сталинградом, молятся и крестятся на икону Николы Угодника, кто по вере, а кто по привычке²¹. В Ленинграде умирающий дедушка дает Дане Ханука-гельт, а в другом эпизоде Даня наблюдает, как семья празднует Шабат и хоронит родных по еврейскому обычаю. Этот синкретизм, разнородность традиций на фоне коммунистических (полу)запретов и то, как впитывает мальчик эту, по сути, противоречивую данность времени, — свидетельство редкого искусства литературно-фактографического повествования Шраера-Петрова.

«Странный Даня Раев» вместе с тем лишь одно из жанровых проявлений художественно-документального письма, свойственного большинству текстов автора. Но, пожалуй, самое интересное с точки зрения генеалогии «странного», гибридного советского еврейства, опровергающего всякие попытки эссенциализировать понятие этнической культуры. Оно, помимо прочего, запечатлевает момент рождения образа

еврея позднесоветского типа, выросшего с фрагментарной памятью/знанием еврейских обычаев и идиша, с еще несущими традицию дедушкой или бабушкой и с мощным опытом антисемитизма (как герои Юрия Карабчиевского, Александра Мелихова и др.). Шраер-Петров признавался, что в 1970-е годы захотел писать *«о тех евреях, которые сейчас есть, не шолом-алеихемских, таких шлемазловских, а о настоящей еврейской интеллигенции»*²². Противопоставление «фольклорных» евреев Шолом-Алейхема «настоящим», безусловно, знаменательно как маркер одновременной самоидентификации-самодистанцирования писателя. Во-первых, по некоторой стереотипности портрета «классического» литературного еврея можно судить об ограниченности еврейского литературного образования в позднесоветское время — в том числе и читателя, на которого ориентируется автор. Что важнее, намечена разница между (в сущности, большинству малознакомым) евреем прошлого и евреем настоящего — русским интеллигентом с самосознанием совсем не Тевье-молочника, а, например, битовского Левы Одоевцева. Кроме того, писатель эксодуса, стремясь избежать распространенных советских стереотипов еврея, восходящих именно к ряду знаменитых шлимазлов и шлемилей, черпает вдохновение совсем из других источников. И если еврейских, а не русских, то не комических, а героических и трагических, библейских (исключение составляет Эфраим Севела, по образцу эренбургского Лазика перенесший образ шлимазла в советскую современность).

Фигуру советского еврея-интеллигента с чертами шлимазла Шраер-Петров создал уже в эмиграции в романе «Савелий Ронкин» (2004), который попал в число претендентов на Русского Букера в 2004 году. В жанровом отношении «Савелий Ронкин» — соединение прозы об эмигрантах, бульварно-эротического романа и литературных мемуаров. Роман-гибрид: одновременно занимательное — нередко даже пикантное — и интеллектуальное чтение, перемежающее конкретику бытовых деталей из жизни молодой русской богемы в Америке, психологическую исповедальность и литературно-филологическую рефлексию. Как нигде, сказывается здесь упомянутый выше синтетизм стиля Шраера-Петрова, не боящегося мало совместимых литературных линий. И, пожалуй, неоднородность художественного уровня повествования.

Поэт Савелий Ронкин эмигрирует в Соединенные Штаты вместе с женой Вандой и ее близкой подругой и одновременно своей кухонной Сабиной, которая получает визу, так как выходит замуж за миллионера-финансиста Пола Ротмана, страстного почитателя русской литературы и щедрого мецената русских неподцензурных поэтов.

Любовные отношения героев сложны, поскольку обеих женщин связывают эротические отношения, а Савелий не только вынужден мириться с этим, но и сам вовлечен в сферу сексуального притяжения подруг. Талантливая русско-американская переводчица Грета Димер занимается стихами Савелия и одновременно, по всей видимости, близка с Полом; по ходу сюжета она же становится временной женой поэта Гороховского, которого тоже переводит и боготворит. К своему другу гению Гороховскому, постепенно становящемуся знаменитостью в эмиграции и в России и получающему премию Пулитцера, Савелий испытывает и симпатию, и зависть. До сих пор известный в литературных кругах «только» как поэт-переводчик, Ронкин страдает от собственного неуспеха и вынашивает заветную мысль об издании книги стихов, которая и выходит в конце романа под заглавием «Волны». К доброжелательному, практичному и в то же время несколько прекраснородушному и ограниченному Полу Ротману он начинает все больше ощущать чувство ненависти: прежде всего он ненавидит свою материальную зависимость и творческую неполноценность. Сказывается и какая-то изначальная чуждость мятущегося, неустроенного поэта-пьяницы и благополучного, не знающего нужды образованного банкира. Знаменательна характеристика Пола — стереотипный портрет американца, интересный с точки зрения писательской имагологии (глупый немец у Чехова, легкомысленный француз у Толстого, ограниченный поляк у Достоевского и т. д.): *«Немного об улыбке Пола Ротмана. Он был хорошо воспитан. Его убедили с малолетства, что добрые события естественно встречать улыбкой. События же и слова сомнительные или даже негативные куда правильнее принимать тоже с улыбкой (осторожной, несмешливой, печальной, укоризненной, даже саркастической), нежели со злым или сокрушенным выражением лица»*²³.

Временами Ронкин зарабатывает мойкой машин, один раз ему удается, благодаря ходатайству Пола и отзыву Гороховского, получить место научного сотрудника на кафедре лингвистики Бостонского колледжа. Но и научная карьера быстро кончается, потому что он уходит в тяжелый запой и перестает интересоваться не только работой, но и внешним миром вообще. Этот очередной запой Савелия вызван скандальным неуспехом книги его мемуаров «Воспоминания литературной лошадки», вышедшей в русском эмигрантском издательстве. С мастерской полемикой и горьким сарказмом изображает Шраер-Петров предвзятую реакцию критиков и «образованных» читателей-эмигрантов на порой нелестные, а по сути объективные или хотя бы неоднозначные мнения и факты, обнародованные Ронкиным в мемуарах.

«Партийность» и агрессивный непрофессионализм публики, кажущиеся в романе элементом автобиографическим, с особенной иронией переданы в диалогах Савелия с гостями на одной из вечеринок. Медики Марк и Нина Шустер шокированы близким знакомством автора воспоминаний с писателем-сталинистом Симоновым, математик Юлий Окунь оскорблен фактом «ошельмования» «ортодоксального еврея-отказника Цукермана»²⁴, бывший отказник-диссидент Володя Гопак возмущается по поводу мнимой симпатии Ронкина к мусульманам, врагам еврейского народа, а хозяин дома Гена Гофман недоумевает, почему Ронкин не считает Окуджаву великим поэтом²⁵. Почти плаксиво, как Гончаров в начале «Обломова» изображает череду соседей-помещиков, проводит Шпраер-Петров перед читателем представителей эмигрантской читающей публики.

Культурная значимость и «историчность» темы непризнанного, мучающегося безработицей еврейского поэта-переводчика подтверждается серьезной генеалогией, в которую входят «Некто Финкельмайер» Феликса Розинера, «Декада» Семена Липкина и отчасти «Пес» Давида Маркиша. Только в последнем из названных текстов речь идет о пространстве эмиграции и узости ее издательско-читательской политики. Шпраер-Петров переносит проблематику авторской неудачливости и творческой половинчатости переводческой работы в постсоветский период и, как и Маркиш, нелестно связывает литературные линии России и Запада. Впрочем, выход книги стихов героя в финале и его возвращение в Россию сулят новое начало.

Занимательность романа, который действительно прочитывается на одном дыхании, не в последнюю очередь объясняется искусным чередованием декораций, когда среда позднесоветской литературной богемы в ресторане Дома литераторов сменяется роскошной обстановкой загородного особняка Пола и Сабины на Кейп-Коде, дача Сапгира — апартаментами в Бостоне, московские улицы — американским пляжем. Однако не один раз ловишь себя на мысли, что американский сюжет несколько сконструирован, а антураж, эротические сцены и диалоги напоминают массовую переводную амурную литературу времен ранней перестройки. Очень «романна» гибель жены Савелия, Ванды, которая, спустившись с двумя своими (предполагаемыми) любовниками с богатой яхты Пола, уставленной живописными закусками и винами, пускается на лодке в открытое море: все трое тонут во время шторма. «Обезображенное тело Ванды» (это выражение и, к сожалению, не только оно, повторяется несколько раз) отдается эхом сотен литературных утопленниц, давно переместившихся, по Тынянову, из литературного центра на периферию, в область массового чтения.



*Давид Шраер-Петров, Эмилия Шраер. Бостон, 2010.
Фото Максима Д. Шраера*

Отдельные фрагменты романа «Савелий Ронкин» отобраны из написанных ранее текстов: романа «Герберт и Нэлли» (эпизод с караимами в Тракае) или рассказов, вошедших в сборник «Карп для фаршированной рыбы» («Старый писатель Форман»). В этот сборник вошли тексты разных лет. Из написанных в Америке наиболее интересны «Мимикрия», «Белые овцы на зеленом склоне горы» и «Цукерман и его дети».

Шраера-Петрова можно по праву назвать мастером жанра короткого рассказа. Его новеллам свойственны бытовой реализм письма, сочетающийся с элементами мистики и сюрреализма; поэтическая многозначность и семантика подтекста; гротеск и одновременно точность, незавуалированность деталей; техника ведения сюжета к неожиданным и контрастным финалам. Притом, что в них затрагиваются самые сложные и трагические темы — Холокост, эмиграция евреев, еврейская идентичность на протяжении веков диаспоры, иудаизм как мировоззрение — они полностью лишены догматизма или попытки вести читателя за руку. Догматизм взглядов сам становится в ряде случаев темой. В искусстве художественной непредвзятости и вместе

с тем трезвости и иронии портретов героев-недотеп Шпраер-Петров — прямой наследник Чехова. Более всего именно в рассказах документализм претворяется в художественную ткань прозы с ее неоднозначной оценкой исторических фактов.

Характерно, что общечеловеческое, примиряющее начало и трагизм существования, смыывающие в чеховской «Скрипке Ротшильда» разницу между евреем и неевреем, находят воплощение в русско-еврейской прозе Шпраера-Петрова. Меняется «этническая» точка зрения и историческая кулиса, но остается философия. Поэтика сведения этнического или культурного конфликта к глубинным основам бытия переносится в настоящее.

Так происходит в «Мимикрии» (1996)²⁶, в которой анализируется одна из центральных для писателя тем — тема приспособления, самосокрытия и гиперассимиляции еврейства в диаспоре. Мимикрия — понятие, многозначность которого естественник Шпраер-Петров проверяет на человеческой породе, а писатель-философ превращает в символ человеческой жизни. По сюжету мимикрию хамелеонов и бабочек исследует поляк Каминский и профессор зоологии Туркин, в американском доме которого собираются главные герои. «Мимикрией» же назван театр марионеток жены профессора Риты, куклы которой — архетипическое отражение национальных типов действующих лиц. Вначале непринужденная беседа гостей о рассеянии и культурном влиянии евреев в Европе переходит в спор и в конце концов выливается в ссору. Каминский утверждает, что роль евреев в истории прогресса сильно преувеличивается, а сами евреи, особенно в России, стали чем-то вроде моды («юдомания»). Рассказчик, сам русский еврей, повествующий от первого лица и тоже участвующий в дискуссии, начинает раздражаться, видя в рассуждениях Каминского желание откеститься от собственного и несомненного еврейства. Речь заходит о предметах, непростых для присутствующих: геноциде турок над армянами (в числе гостей армянская девушка-историк Астрид и турецкий нейрохирург Ахмет) и участии восточноевропейского населения в Холокосте. Конфликт между рассказчиком и «хамелеонологом», обостренный любовным соперничеством (оба ухаживают за прекрасной армянкой), превращается в финале в своего рода поединок. Вся группа идет на пляж и, не смотря на надвигающуюся непогоду, оба, соревнуясь друг с другом, пускаются в заплыв. Когда Каминский ударяется головой о каменный риф, рассказчик вдруг забывает обо всем: *«Я начисто забыл про Астрид, про соревнование, про наши споры за ланчем. Все стерлось этими сумасшедшими волнами, которые могли убить человека»*²⁷. На берегу, до которого им с трудом удается доплыть, Каминский признается, что

был одним из тех детей, которых немцы «не успели» сжечь в газовых камерах: *«И простите меня за мой цинизм. Это, наверно, тоже попытка носить маску. Чужую маску»*²⁸. Рассказчик пытается разобраться в себе, найти корень своей внезапной ненависти, как и своего писательского бунтарства — «ощерившихся строчек моих правдоискательских писаний»²⁹. Возникающий в его сознании эпизод из детства дает мотив и разгадку, он оставляет воспоминание о несолидарности евреев в мире юдофобства.

Как и во многих прозаических шедеврах Чехова — наиболее обнаженно в рассказе «Враги» и повести «Дуэль» — вражда идей здесь исследуется как симптом подспудных психологических процессов. У позднего Чехова идейный конфликт часто оборачивается не прозрением героя, а лишь его отходом от прежде непоколебимых убеждений. Субъективная картина мира меняется и усложняется, но процесс познания остается незавершенным. *«Никто не знает настоящей правды»*, — говорит Лаевский фон Корену в финале «Дуэли». В «Мимикрии» несколько иначе: столкновение становится родом терапии и приводит к катарсису, внутреннему освобождению.

В рассказе «Цукерман и его дети» (1989) писатель переносит типичного чеховского героя в позднесоветское время. Отказник Цукерман — зануда и резонер, недотепство которого обнаруживается на уровне человеческих и семейных отношений. *«Он — фанатически приверженный букве иудаизма. Я — фантастически беспомощный в тягучих разговорах»*³⁰. Сам отказник, Штраер-Петров изображает современного еврейского чеховского печенегу из своей среды, современного доктора Львова, современного Беликова — разные ипостаси внутренне скукоженного, ограниченного в своих убеждениях и одновременно в чем-то жалкого, неустроенного носителя идеи. Цукерман осуждает рассказчика за то, что тот писатель, ведь литература лишь отвлекает от единственного достойного источника — Библии. На фоне такого морального ригоризма странным кажется то, что, уезжая с семьей в Израиль, он оставляет в России малолетнюю дочку жены от первого брака (отец девочки не дает разрешения на выезд). Систему (кривых, гротескных) портретных отражений — пьяница-хам или другой «ударенный» еврей Моня Калман — автор мастерски использует для многомерной характеристики человеческого типа. Но самое точное зеркало Цукермана — его семья, бедная, неустроенная, бессловесная. Вот последняя сцена в аэропорту: *«По ту сторону турникета стояла женщина — жена Цукермана, хотя трудно было узнать ее в черном глухом платке. На руках у жены Цукермана спал Самуил. В одной руке ее была складная сумка-коляска, а на другой повис Боринька-паровозик»*³¹.

Анализ поэзии Давида Шраера-Петрова потребовал бы отдельной статьи, которая еще должна быть написана, как и работа о его интереснейших мемуарах и месте в русско-еврейской культурной истории. Его творчество можно назвать памятником русскому еврейству переходного, а в более широком смысле синкретического культурного типа — советского и эмигрантского, далекого иудаизму и отражающего историю его бытования после коммунизма; памятник еврейству памяти и самоанализа. Из трех названных им своих ипостасей — американской, еврейской и русской — две последние и сегодня, несомненно, определяющие.

Примечания

¹ Ср. о параллелях в литературной и медицинской биографиях Чехова и Шраера-Петрова в статье: *Shrayer, Maxim D. Afterword: Voices of My Father's Exile // Autumn in Yalta: A Novel and Three Stories, by David Shrayer-Petrov / Edited, cotranslated, and with an afterword by Maxim D. Shrayer. Syracuse, 2006 (Series: Library of Modern Jewish Literature). P. 224–225.*

² Мерцание желтой звезды. Шраер-Петров Давид, Вольтская Татьяна. Радио Свобода. 28.01.2016 / <http://www.bigbook.ru/articles/detail.php?ID=25001> (дата обращения 20.08.2016).

³ *Шраер-Петров, Давид. Странный Даня Раев // Эти странные русские евреи. М.: Радуга, 2004. С. 5–92.*

⁴ Там же. С. 55.

⁵ *Шраер-Петров, Давид. Герберт и Нэлли. СПб.: Академический проект, 2006.*

⁶ Мерцание желтой звезды. Шраер-Петров Давид, Вольтская Татьяна (дата обращения 21.08.2016).

⁷ *Шраер-Петров, Давид. Белые овцы на зеленом склоне горы // Карп для фаршированной рыбы. М.: Радуга, 2005. С. 289–299.*

⁸ *Шраер-Петров, Давид. Друзья и тени: роман с участием автора. New York, NY: Liberty Publishing House, 1989; Шраер-Петров, Давид. Москва златоглавая. Литературные воспоминания. Baltimore, MD, 1994; Шраер-Петров, Давид. Водка с пирожными: роман с писателями. СПб.: Академический Проект, 2007.*

⁹ *Шраер-Петров Давид. Охота на рыжего дьявола: Роман с микробиологами. М.: Аграф, 2010.*

¹⁰ Хотя о степени и характере их ассимиляции надо, скорее всего, говорить особо: мать Шраера-Петрова, например, была еще дочерью раввина из миснагедского раввинского рода.

¹¹ Шраер-Петров Давид Петрович // <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения 21.08.2016).

¹² Шраер-Петров, Давид: «Я думаю, что мы все друг друга чему-то научили». 17.05.2011. Беседовал Геннадий Кацов // <http://www.runyweb.com/articles/culture/literature/david-shayer-petrov-interview.html> (дата обращения 21.08.2016).

¹³ О феномене евреев-переводчиков в советское время ср. романы «Остановите самолет — я слезу!» Эфраима Севелы (1975), «Некто Финкельмайер» Феликса Розинера (1975) и «Декада» Семена Липкина (1980).

¹⁴ *Шраер-Петров, Давид*. Холсты. Стихи // Перекличка. М.: Молодая гвардия, 1967.

¹⁵ Шраер-Петров, Д.: «Я думаю, что мы все друг друга чему-то научили».

¹⁶ Там же (языковые ошибки, допущенные в публикации, в цитате исправлены).

¹⁷ *Шраер, Максим Д., Шраер-Петров, Давид*. Генрих Сапгир: Классик авангарда. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.

¹⁸ *Шраер-Петров, Д.* Странный Даня Раев. С. 17.

¹⁹ Там же. С. 24.

²⁰ Там же. С. 36–37.

²¹ Там же. С. 62.

²² Шраер-Петров, Д.: «Я думаю, что мы все друг друга чему-то научили».

²³ *Шраер-Петров, Давид*. Савелий Ронкин // Эти странные русские евреи. С. 119.

²⁴ Гротескный образ Цукермана нарисован в рассказе «Цукерман и его дети»: *Шраер-Петров, Давид*. Карп для фаршированной рыбы. М.: Радуга, 2005. С. 65–73.

²⁵ *Шраер-Петров, Д.* Савелий Ронкин. С. 292–295.

²⁶ *Шраер-Петров, Давид*. Мимикрия // Карп для фаршированной рыбы. М.: Радуга, 2005. С. 147–150.

²⁷ Там же. С. 147.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. С. 149.

³⁰ *Шраер-Петров, Давид*. Цукерман и его дети // Карп для фаршированной рыбы. М.: Радуга, 2005. С. 65.

³¹ Там же. С. 73.